

СВИДАНИЕ

Ты подожди меня, постой,
Мы в мир теней уйдем с тобой¹.

*Эпитафия на смерть
жены Генри Кинга,
епископа Чичестерского*

Отмеченный роком, загадочный человек, ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности! Снова твой образ встает в мечтах моих! Опять я вижу тебя — не таким, о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты мог быть — расточая жизнь и предаваясь роскошным грезам в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции — счастливом Элизиуме моря, — чьи дворцы, возведенные Палладио, с глубокой и горькой думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да, повторяю — каким ты мог быть! Конечно, есть иные миры, кроме нашего, иные мысли, кроме мыслей толпы, иные доводы, кроме доводов софистов. Кто же решится призвать тебя к ответу? Кто осудит часы твоих видений и назовет бесплодной растратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неисчерпаемой энергии?

¹ Перевод А. Голембы.

Это было в Венеции, под украшенной барельефами аркой Ponte dei Sospiri¹, — там я в третий или четвертый раз встретил того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но я помню — и могу ли забыть? — глубокую полночь, мост Вздохов, красоту женщины и Гения Романтики, носившегося над узким каналом.

Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пьяцце пробили два часа — итальянский вечер кончался. Площадь Кампанильи опустела и затихла, огни в старом герцогском дворце погасли один за другим. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому каналу. Но, когда моя гондола поравнялась с устьем канала Св. Марка, дикий, отчаянный, протяжный женский вопль внезапно разнесся среди ночной тишины. Пораженный этим воплем, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло; и так как найти его в этой непроглядной тьме было невозможно, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте поворачивает из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному кондору, тихонько скользили мы к мосту Вздохов, когда тысяча огней, загоревшихся в окнах и на лестницах дворца, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый, неестественный день.

Выскользнув из объятий матери, из верхнего окна высокого здания в глубокий и мрачный канал упал ребенок. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверх-

¹ Мост Вздохов (*итал.*).

ности канала сокровище, которое — увы! — можно было найти только в его пучинах. На черных широких мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, уже не мог забыть. Всего несколько ступенек отделяло ее от воды. То была маркиза Афродита — кумир Венеции, воплощенное веселье, красавица из красавиц — молодая супруга старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, первого и единственного, который в глубине темных вод с тоской вспоминал о ласках матери и, тщетно борясь за жизнь, пытался произнести ее имя.

Она стояла одна. Маленькие босые серебряные ножки ее отражались в черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, окружали, словно грозди, ее классическую головку, спадая среди мерцающих бриллиантов крутыми кудрями, похожими на завитки распускающихся гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой прозрачной ткани, казалось, составляло ее единственную одежду; но летний ночной воздух был тяжел, душен и неподвижен, и сама она стояла как статуя, и поэтому ее воздушный покров ниспадал складками, подобными мраморным одеждам Ниобеи. И — странное дело! — огромные блестящие глаза ее не были обращены вниз — к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, — они устремились совсем в другом направлении. Допускаю, что тюрьма Старой Республики — величественнейшее здание Венеции; но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу, у ее ног? Что было в той темной мрачной

нише, как раз против окон молодой женщины, в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах — чего маркиза де Ментони не видала уже тысячу раз? Нелепость! Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения своей скорби, и горе, которое здесь, возле них, кажется им таким отдаленным.

На много ступеней выше маркизы, под аркой плюза, одетый во фрак, стоял сам Ментони, наминавший сатира. Он был до смерти еппуэ¹ и, давая указания, где искать ребенка, по временам брал аккорды на гитаре. Ошеломленный, охваченный ужасом, я не мог пошевелинуться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, выпрямившись, бледный, оцепеневший, плыл мимо нее в своей траурной гондоле.

Все усилия оставались тщетными. Большинство самых сильных пловцов уже прекратило поиски, покорясь угрюмому року. Кажется, остается уже мало надежды (насколько же меньше для матери!), как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, в полосу света выступила мужская фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю отвесной стены и ринулась в канал. Минуту спустя он уже стоял на мраморных плитах перед маркизой с еще живым и не потерявшим сознания ребенком на руках. Промокший плащ, отяжелев от воды, соскользнул с него и лег складками у его ног, и взорам изумленных зрителей предстала

¹ Раздосадован (*фр.*).

изящная фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обнимет его драгоценное тельце и покроет его бесчисленными поцелуями... Увы! *Другие* руки приняли ребенка, *другие* руки подняли и унесли его, не замеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы застилают глаза ее, глаза, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа: «нежные и почти текучие». Да, слезы стояли в ее глазах — и вот женщина очнулась, статуя ожила. Бледное, мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной неудержимого румянца, и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как колеблет тихий ветерок Неаполя пышные серебряные лилии в траве.

Почему бы могла она покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Чем еще объяснить этот румянец? Блеск этих зовущих глаз? Необычайное волнение трепещущей груди? Судорожное пожатие дрожащей руки — руки, которая случайно опустилась на руку незнакомца, когда Ментони отвернулся, уходя во дворец. Чем еще объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощание? «Ты победил, — сказала она (или я ошибся, и то был ропот вод), — ты победил: через час после восхода солнца мы будем вместе!»

* * *

Смятение прекратилось, огни во дворце погасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения, его взор искал гондолу. Я предложил ему свою, и он принял мое любезное предложение. Раздобыв весло у шлюза, мы поплыли к его дому. Он быстро овладел собой и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в весьма сердечных выражениях.

Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. Это относится и к личности незнакомца. Я по-прежнему буду так называть его, ибо для всего мира он все еще оставался незнакомцем. Роста он, пожалуй, был ниже среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто вырастало и не подходило под это определение. Легкий, почти хрупкий облик обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у моста Вздохов, нежели геркулесову силу, пример которой он, как известно, не раз выказывал без труда и в более опасных случаях. Рот и подбородок молодого бога, удивительные, страстные, огромные влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого орехового тона до блестящей черноты, и густые вьющиеся темные волосы, из-под которых ослепительно сверкал необычайно большой белый лоб, — такова была его наружность. Столь классически правильного лица я не видывал, разве что любуясь статуями императора Коммода. Наружность его была из тех, какие случается встретить только раз в жизни. Лицо его не отличалось каким-либо особенным выражением, которое врзается в память; увидев это лицо, вы

тотчас забывали о нем, но потом не могли отделаться от смутного и неотвязного желания восстановить его в памяти. Даже самые мимолетные страсти мгновенно отражались на этом лице, как в зеркале, но подобно зеркалу оно не сохранило никаких следов исчезнувшей страсти.

Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, и как будто очень настоятельно, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо — одним из тех угрюмых, но сказочных и пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала, неподалеку от Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой, едва я вошел, ослепила и ошеломила меня.

Я знал, что мой знакомый богат. О его состоянии ходили слухи, которые я всегда считал нелепым преувеличением. Но, озираясь в этом палаццо, я не мог поверить, чтобы у какого-либо частного лица в Европе нашлось достаточно средств на такое царское великолепие, которое сияло и блистало вокруг меня.

Хотя, как я уже сказал, солнце взошло, но в комнате все еще горели яркие светильники. По этому обстоятельству, а равно и по утомленному виду моего друга я заключил, что в эту ночь он не ложился. В форме и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился ни о том, чтобы выдержать стиль, ни о национальном колорите. Глаза разбегались при виде гротесковых рисунков греческих живописцев, скульптур лучших итальянских мастеров старой школы, резных изделий

Древнего Египта. Роскошные завесы слегка дрожали от звуков тихой меланхолической музыки, лившейся неведомо откуда. Голова кружилась от смеси разнообразных благовоний, поднимавшихся из странных витых курильниц вместе с мерцающими, трепетными язычками изумрудного и лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли все это сквозь окна с цельными малиновыми стеклами. Просачиваясь бесчисленными струями между завесами, падавшими с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, и отражаясь от них тысячами бликов, лучи естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный золотистый ковер.

— Ха! ха! ха!.. Ха! ха! ха! — рассмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттоманку. — Я вижу, — прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, — я вижу, что вас поражают мои апартаменты, мои статуи... мои картины... моя прихотливость в архитектуре и обстановке!.. Вы совсем опьянели от моей роскоши. Но простите, дорогой мой, — тут он заговорил самым сердечным тоном, — простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так *непомерно!* Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек должен рассмеяться, иначе он умрет. Умереть смеясь — вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор — прекрасный человек был сэр Томас Мор! — сэр Томас Мор умер смеясь, если помните. И в «Абсурдностях» Ревизиуса Текстора приводится длинный список лиц, которые так же достойно встретили смерть. Знаете, — продолжал он задумчиво, — в Спарте (нынешней Палеохории), в Спарте, к западу от

цитадели, среди груды едва заметных развалин, есть камень вроде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы λαεμ. Без сомнения, это остаток слова γελαεμ¹. Теперь известно, что в Спарте существовали тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств. Как странно, что храм Смеха пережил все остальные! Однако в настоящую минуту, — при этих словах его движения и голос странно изменились, — я не имею права забавляться на ваш счет. Вы, вероятно, поражены. Во всей Европе вы не найдете ничего прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы — те просто верх модного безвкусица. Эта же лучше всякой моды, не правда ли? Стоит показать эту комнату, как она сама станет образцом моды, — конечно, для тех, кто может завести себе такую же, хотя бы ценой всего своего состояния. Впрочем, я не допустил бы подобной профанации. За одним только исключением, вы единственный, кто, кроме меня и моего слуги, посвящен в тайны этого царского чертога с тех самых пор, как он воздвигнут.

Я поклонился в знак признательности, так как был совершенно подавлен всем этим великолепием, музыкой, благовониями, а также необычностью речей и манер хозяина, и это помешало мне выразить свое мнение в виде какой-нибудь любезности.

Он встал и, опершись на мою руку, повел меня вокруг комнаты.

— Здесь, — сказал он, — картины от греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них я выбрал, не считаясь с мнениями

¹ Смех (*греч.*).

знатоков. Вот несколько шедевров, принадлежащих неведомым талантам; вот неоконченные рисунки людей, в свое время прославленных, но чьи имена проницательность академиков отдала безвестности и мне. Что вы скажете, — прибавил он, внезапно обернувшись, — что вы скажете об этой *Madonna della Pietá*?¹

— Это настоящий Гвидо, — отвечал я с присущим мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудесную картину. — Настоящий Гвидо! Как удалось вам достать ее? Бесспорно, она в живописи занимает то же место, что Венера в скульптуре.

— А! — сказал он задумчиво. — Венера, прекрасная Венера? Венера Медицейская? Золотоволосая, с миниатюрной головкой? Часть левой руки (здесь голос его понизился до еле слышного шепота) и вся правая реставрированы, и в кокетливом движении этой правой руки — квинтэссенция жеманства. А Канова! Его Аполлон тоже подделка, в этом не может быть сомнения, — и я, слепой глупец, никак не могу оценить хваленое вдохновения Аполлона. Я предпочитаю — что делать? — предпочитаю Антиноя. Кто-то — кажется, Сократ — заметил, что скульптор видит свое изваяние еще в глыбе мрамора. В таком случае Микеланджело только повторил чужие слова, сказав:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto
Che un marmo solo in se non circonscriva².

¹ Скорбящая Божья Матерь (*итал.*).

² Лишь то ваятель создавать способен,
Что мрамор сам в себе уже таил.

Перевод А. Голембы.

Замечу, если никто еще не сделал этого до меня, что манеры истинного джентльмена всегда резко отличаются от манер простого человека, хотя не сразу можно определить, в чем состоит различие. Это как нельзя более подходило к внешности моего незнакомца, но — я это почувствовал в то достопамятное утро — оказывалось еще вернее в отношении его характера и внутреннего облика. Я не могу определить ту духовную особенность, которая так отличала его от прочих людей, иначе как назвав ее привычкой к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему даже его обыденные действия; оно вторгалось в его шутку, переплеталось с порывами веселья — как те змеи, что выползают из глаз смеющихся масок на карнизах Персеполиса.

Я не мог не заметить, однако, в его быстром разговоре, то шутливом, то серьезном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения в речах и поступках, беспокойного возбуждения, которое оставалось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко, остановившись на середине фразы и, очевидно, забыв ее начало, он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-то посетителя или внимал звукам, раздававшимся лишь в его воображении.

В одну из этих минут рассеянности я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициано «Орфей» (первую национальную итальянскую трагедию), лежавшую подле меня на оттоманке, и увидел место, подчеркнутое карандашом. Это место, в конце третьего акта, хватает за душу, и, хотя оно окрашено земными, грешными желаниями, ни один мужчина не про-